

А. И. БЕЛЕЦКИЙ

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СТИХОТВОРНЫМИ ТЕКСТАМИ
А. С. ПУШКИНА

(«АНЧАР»)¹

О стихотворении «Анчар» А. С. Пушкина уже существует значительная литература. Долгое время исследователей интересовал больше всего вопрос, из каких литературных источников взял Пушкин образ ядовитого «древа»? Как известно, образ этот не вымышленный. О ядовитом дереве, носящем в ботанике название *Antiaris toxicaria* Lesch, упоминал еще Плиний Старший в своей «Естественной истории»². Образ получил популярность в предромантической и романтической литературе Европы. Мы находим его в балладе Мильвуа «Мансенил», известной и в переводах русских поэтов³. В английской литературе его можно найти в дидактической поэме Эразма Дарвина, в «Чайльд-Гарольде» Байрона, у Кольриджа, Джорджа Колмана младшего. Во французской, кроме Мильвуа, у О. Бальзака и Э. Сю⁴.

¹ Предлагаемая статья была закончена в 1953 г., т. е. до появления в печати работы Д. Д. Благого «Анчар» А. С. Пушкина» (Академия наук СССР, Отделение литературы и языка, Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию, Сб. статей, Изд-во АН СССР, М., 1956, стр. 94—126). Готовя в настоящее время свою статью к печати, я стремился, по возможности, не повторять уже сказанного Д. Д. Благом, останавливаясь, по преимуществу, на других сторонах данной проблемы.

² C. Plinii Secundi Naturalis historiae liber XVI 10, 50 (20) ed. Mayhoff. Lipsiae 1890 — «Анчаром» (в связи со стихотворением Пушкина) интересовались и русские натуралисты: см. статья Я. Леснова в ж. «В мастерской природы», 1919, № 4, стр. 35—37 и Б. М. Козо-Полянского в ж. «Природа», 1949, № 8, стр. 59.

³ См. В. И. Гуманский, Стихотворения и письма, СПб., 1912, стр. 124. «Мансенил» (1823); А. Раевский, в «Украинском журнале», 1825, ч. V, № 4, стр. 173—174.

Еще в 1920 г. В. Я. Брюсов писал о том, что мысль Пушкинского «Анчара» заимствована из Мильвуа. — Сейчас для нас ясно, что ни о каком заимствовании Пушкина из Мильвуа не может быть речи.

⁴ С Байроном сопоставлял в данном случае Пушкина еще Н. Ф. Сумцов (Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина, Хрк., 1900, стр. 185—191). Другие английские параллели указаны Д. С. Якубовичем (Литературное наследство, т. 16—18, стр. 869). О ядовитом дереве у Бальзака см. русский перевод: Собрание сочинений, т. XX, М., 1947, примечание Б. А. Грифцова, стр. 288). У Э. Сю — в романе «La Vigie de Koat-Ven» Brux. 1834, ch. XXVIII (со ссылкой на Dictionnaire des sciences médicales et le Traité des poison, traduit de l'arabe par Joso Ortés).

В русской поэзии, уже после Пушкина, в стихотворениях — Е. Ростопчиной (1841) и К. Масальского¹.

Д. Д. Благой в своем исследовании об «Анчаре» с совершенной убедительностью указал на статью голландского доктора Фурша, переведенную на русский язык в 1786 г., как на прямой источник сведений Пушкина о ядовитом дереве. После этого дальнейшие поиски и предположения можно считать излишними².

По отношению к основной задаче историко-литературной интерпретации — раскрытию идейного содержания данного произведения, своеобразно отразившего движение передовой общественной мысли в России, современной поэту, — вопрос о литературном источнике «Анчара» не первостепенен. Как и всякий подлинный поэт, Пушкин исходил в своем творчестве от жизни, не от литературы, решая или пытаясь решать вопросы, которые современность задавала ему, еще в юности считавшему свой голос «эхом русского народа».

Форма поэтического ответа была подсказана характером замысла. Отвлечь этот замысел от формы, в которую он воплотился, так же невозможно, как недопустимо рассматривать данную форму вне этого замысла. Читатели могут, конечно, применять данный образ к собственным мыслям и чувствам: история этих применений, как увидим, весьма поучительна, и ее исследование также входит в задачу науки. Но для самого поэта смысл произведения не явился текущим, и анализ «Анчара» должен в первую очередь определить его, как «*ergon*», как устойчивый историко-литературный факт, природа которого определенно детерминирована.

Сам Пушкин не оставил какого-либо комментария к данному стихотворению. Известно, что уже после напечатания стихотворения в 1832 г. жандармская цензура заподозрила в нем «тайные применения и аллюзии», против чего протестовал Пушкин³. Оправдания Пушкина и замена слова *царь* словом *князь* в последней строфе, по мнению одного из исследователей «Анчара» Н. В. Измайлова, передвигают смысл стихотворения, «освобождая его от временных политических тайных применений» в духе Бенкендорфа и повышая безмерно его общечеловеческое значение, вырастающее на конкретном фоне восточной легенды⁴. «Проблема судьбы, проблема отношения человека к роковым силам, движущим мир», — вот что «мучительно занимало Пушкина при создании данного стихотворения и ряда других, написанных в том же 1828 году» — говорил Н. В. Измайлов.

От «Анчара», продолжает он (развивая вольно или невольно мысль В. В. Водовозова⁵), можно провести прямую линию к «Медному всаднику», где также борются «сверхчеловек» с воплощением роковой силы, и в их столкновении гибнет маленький человек. Установивались параллели: «князь» (царь) «Анчара» и Петр I; море — Анчар; Евгений и раб «Анчара».

Однако, заметим со своей стороны, Евгений-то не принимает

¹ Стихотворения графини Ростопчиной, изд. 2-е, т. II, СПб., 1857, стр. 75—76; К. Масальский, Дерево смерти, в сб. «Сто русских литераторов», т. II, 1841, стр. 343—350.

² Д. Д. Благой, Анчар А. С. Пушкина, стр. 100 и след.

³ См. Д. Д. Благой, «Анчар» А. С. Пушкина; А. С. Пушкин, Письма, ред. Л. Б. Модзалевского, т. III, 1935, стр. 70 и 476.

⁴ Н. В. Измайлов, Из истории Пушкинского текста, «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 10.

⁵ Сочинения А. С. Пушкина, ред. С. А. Венгерова, Изд-во Брокгауз—Эфрон, т. VI, Пгтр., 1915; В. В. Водовозов, Политические и общественные взгляды Пушкина в последний период его жизни, стр. 377.

никакого участия в деяниях «сверхчеловека» Петра I, а раб приносит своему владыке яд, необходимый тому для войны. И море в «Медном всаднике» отнюдь не роковая сила, а «побежденная стихия», с которой уже не приходится бороться Петру. Наводнение возникает не от того, что море идет на «Град Петров», а от того, что Нева, силой ветра прегражденная в своем течении к заливу, пошла назад, выступая из берегов. И с нею никто не борется: царь признает свое бессилие: «с божьей стихией царям не совладать».

Линия от стихотворения к поэме на самом деле оказывается отнюдь не «прямой», а, пожалуй, вовсе не различимой.

Но, оставив пока обзор толкований «Анчара», обратимся к самому произведению. Оно принадлежит к числу немногих у Пушкина вещей, в которых поэт представляет образам говорить самим за себя. Что обозначает, прежде всего, самый образ Анчара?

Есть ли это *символ* «неумолимой судьбы», как полагал Н. В. Измайлов, или же *символ* «бездны Зла, от века присущего миру», как писал Д. Н. Овсяннико-Куликовский¹, или же «злого начала, от которого проистекают деспотизм, рабство и смерть», как утверждал еще один вдумчивый исследователь и преподаватель русской литературы?²

Нет. Анчар — это не символ, не аллегория, это реально существующее вредоносное дерево, в котором нет ничего мистического.

Мы знаем, что Пушкин, творивший с постоянной оглядкой на цензуру, не всегда имел возможность прямого высказывания. И тем не менее, он обыкновенно не затруднял читателя поисками сокровенного смысла своих произведений, не предлагал им и потомству ребусов, нуждающихся в разгадке. Не нужно *гадать* над произведениями Пушкина. Нужно только внимательно читать их, помня замечание Гоголя, что у Пушкина в каждом слове «бездна странства».

Пушкин живописал ядовитое дерево понаслышке, но живописал его теми же приемами, какими воспроизводил явления, доступные его непосредственному восприятию. В описании преобладают эпитеты: пустыня — чахлая и скупая, почва — раскаленная зноем, зелень ветвей — мертвая, яд — застывающий густой, прозрачную смолу, песок — горючий и т. д.: сплошь — эпитеты, передающие чувственные представления, обращенные к нашим внешним чувствам. Данные, которыми мы располагаем о работе Пушкина над «Анчаром», в значительной части своей также удостоверяют стремление поэта к наибольшей конкретности образа, к точности определений. В автографе Пушкинского Дома пустыня первоначально была названа мрачной: эпитет, передающий субъективное отношение к ней, заменен эпитетами чahлый, скупой, объективно передающими качество пустыни. Первоначальный эпитет к слову лист — «висящий» — не давал наглядности и сменился эпитетом «дремучий» от слова «дрёма» — дремлющий, сонный, недвижимый. В черновике предполагалось изобразить, как «тигр в пустыню забежав, в мученьях бьется, умирает (издыхает), как «паря над ней, орел стремглав, кружась, безжизненный, спадает»; в окончательной редакции просто:

к нему и птица не летит,
и тигр нейдет...

¹ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собр. соч., т. IV, Пушкин, СПб, 1909 (об «Анчаре», стр. 129—134).

² Влад. Фишер, Русская литература, Учебник, М., 1916, стр. 128.

— потому что своим мудрым инстинктом животные издали ощущают угрозу. Во всем описании имеются только два места, как будто выходящие из конкретного плана. Первое — «стоит один во всей вселенной». Однако слово «вселенная» может и не обозначать в данном случае все земное пространство, а только всю окрестную землю, заселенную зверями и дикими племенами, широкий простор, «куда глаз хватит», окоём, на котором не видать ничего, кроме анчара. Сложнее вопрос с другим словосочетанием: «день гнева». Это, конечно, не *dies irae*, день гнева господня, но это также может быть понято конкретно, как обозначение какой-либо стихийной катастрофы, пережитой жаждущими степями, — извержения вулкана, землетрясения.

Отметим еще показательные варианты второй строфы. Ядом первоначально были напоены жилы тощие корней — но почему бы им быть «тощими»? Анчар стоит крепко. Отброшен и второй вариант: жилы сонные ветвей, и третий: жилы мощные ветвей. Стремление к наибольшей точности привело к окончательному тексту: «и зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила».

Даже слова, которыми нагнетается впечатление ужаса — грозный часовой, вихорь черный, тлетворный, древо смерти — не являются намеками на что-то, стоящее вне конкретности данного образа, придающее ему характер иероглифа. Древо яда не символ, а конкретный образ, хотя и экзотический. Никакого соответствия с каким-либо «непознаваемым», недоступным прямому восприятию миром; никакого стремления передать данным образом нечто «неизреченное» — в описании Анчара нет.

Таким образом, можно утверждать, что Анчар для Пушкина не символ некоей мистической злой силы, а одно из страшных и губительных явлений природы, к каким относятся, например, «аравийский ураган», «дуновение чумы» и тому подобное. Наличие в природе таких явлений и сил *само по себе* не приводит сознание Пушкина в состояние беспомощной растерянности, хаоса. Тютчевское «таинственное зло» Пушкину абсолютно чуждо. В древе яда нет ничего таинственного. Природа его создала, но природа его отъединила от прочей жизни («стоит один»).

Ужасен не Анчар, являющийся, так сказать, одним из аккумуляторов страшных и разнообразных сил природы. Эти силы в зависимости от социальных условий могут по-разному влиять на жизнь человечества. Гораздо ужаснее их злая человеческая воля, которая в определенной общественной обстановке может воспользоваться этим аккумулятором для внесения в жизнь элементов разрушения и гибели.

Кульминационным пунктом произведения являются стихи:

Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,

восхищавшие, как известно, Мериме и других силой своего лаконизма. Но сила эта не слабеет и в дальнейшей части, изображающей истонченное противоречие в организации человеческого общества.

Обратимся к этой второй части. Описание переходит в повествование с двумя действующими лицами — властелином и рабом.

Задержимся на втором слове — «раб». Оно еще держится в нашем языке, поскольку в окружающем нас капиталистическом мире существует эксплуатация человека человеком (сейчас мы называем ее более точно), имеется капиталистическое рабство и империалистические тенденции к порабощению народов.

В нашем внутреннем обиходе слова раб уже приобрело несколько архаистический оттенок. Фразеология поэтов первой половины XIX в. (в том числе и Пушкина) во многих своих семантических оттенках нам чужда. Исчез, во-первых, смысловой оттенок, который придавала этому слову религия («раб божий»). Начинает исчезать и применение слова «раб» к человеку, не имеющему силы воли противиться какой-либо нарушающей его внутреннюю свободу страсти, чувства, привычки («раб страстей» и т. п.).

В стихотворном наследии Пушкина слово «раб» употребляется свыше пятидесяти раз. Смысловые оттенки его различны. Иногда речь идет о крепостных рабах, о «рабах страстей». Нередко слово «раб» применяется и для характеристики политического положения народной верхушки в определенных политических условиях.

Рабами называет Пушкин французов, подчинившихся Наполеону. Рабами называет он и всех, послушных тому или иному абсолютному монарху. В стихотворениях «Вольность», в обращении к генералу Пушкину (1821), в стихотворении «Свободы сеятель пустынный (1823)» речь идет о рационалистической категории подданных абсолютной монархии, о деспотах и тиранах. Во всех этих случаях мы имеем дело со словоупотреблением, удивившимся в русском литературном языке еще со второй половины XVIII в. и распространенном в кругах политических вольнодумцев первой четверти XIX в., — у поэтов «радищевцев», у поэтов декабристов. Не будем приводить возможных цитат из Грибоедова, Чаадаева, Гнедича («Перуанец к испанцу»), а еще раньше — Капниста («Ода на рабство»), Радищева и др.

Стихотворение «Анчар» переносит нас в область, как будто абстрагированную от европейской и русской политической действительности начальных десятилетий XIX в. Для этого намеренно избрана экзотическая обстановка: действующими лицами являются «человек» и «человек». Но один из двух «владыка», «царь», а другой — раб, послушное орудие властного взгляда. Как ко второму из двух относится Пушкин?

Конечно, нет оснований, вслед за старыми комментаторами говорить о том, что у Пушкина раб показан «во всем величии самоотречения»¹. Пушкинский раб ни от чего не отрекается: он загипнотизирован взглядом владыки. Это отнюдь не Василий Шибанов, холоп князя Курбского, много лет спустя после Пушкина воспетый А. К. Толстым. Василий Шибанов А. К. Толстого — раб по убеждению, воспитанному в нем этикой феодального общества. Он знает, что его господин, князь — изменник родины. Но долг вассальной верности для Шибанова всего важнее. Умирая, он молится за «святую великую Русь», но молится и о том, чтобы князю было прощено тягчайшее преступление перед родиной, и то, что этот князь предал его, Шибанова, «за сладостный миг укоризны». Здесь имеется «самоотречение». У Пушкина оно не только отсутствует, но не может и подразумеваться.

Представление о рабе вообще внушается читателю Пушкиным очень скупыми словами. «Послушно» он отправился в путь; пришел, изнеможенный — «и пот по бледному челу струился хладными ручьями»; ослабел, лег, умер. Примечательно, что все его поведение передано глаголами совершенного вида, среднего залога, противоположными действиям царя («послал», «напитал», «разослал»). Заключается ли в эпитете раба — «бедный» — выражение авторского

¹ Сочинения А. С. Пушкина, Изд-во Л. Поливанова, т. I, изд. 2-ое, М., 1893, стр. 260.

сочувствия? По давнему мнению Н. В. Измайлова (в цитированной выше статье), «напрасно искать у Пушкина сочувствия погубленной человеческой жизни». Слово «бедный» само по себе может говорить только о жалости, не о сочувствии. А жалеть можно любую тварь, когда она бессмысленно погибает. Однако Пушкин мог бы применить в данном случае и иной эпитет; он мог бы назвать раба, например, жалким, покорным, послушным, верным, даже презренным — эти эпитеты имелись в запасах поэтического языка его времени. Обозначение «бедный» явилось не сразу, варианты текста свидетельствуют, что оно возникло после поисков; в черновиках было: «и смелый (в путь) потек», было: «и тот безумно в путь потек», было: «принес и умер верный раб». Но эпитет «верный» уступил эпитету «бедный». В черновиках было: «и лег он, испуская крики». Это тоже было отброшено: но изображение смерти раба уточнилось описанием его физических страданий: бледное чело, на которое хладными ручьями струится пот — эти детали конкретизируют образ, очеловечивают его и, несомненно, имеют в виду вызвать у читателя чувство сострадания. Этого умирающего раба мы видим. Его владыку, «царя» ощутить, как живую личность, труднее. Он — «непобедимый владыка». Эпитет может и не обозначать счастливого в своих действиях полководца. Непобедима, неодолима прежде всего его власть над подданными-рабами. По мнению упомянутого выше В. В. Водовозова, гибель раба будто бы вызвана «государственной необходимостью», которую будто бы Пушкин признает, хоть ее удовлетворение покупается ценой человеческой жизни. «Совершенно ясно, что эту цену Пушкин заплатит не с легким сердцем, хотя бы за величие государства»¹. Но царь, рассылающий гибель «к соседям в чуждые пределы», может делать это с целью захвата и грабежа, вовсе не вызываемого «государственной необходимостью».

Общественные отношения представлены в «Анчаре» в нарочито-упрошенном виде. Владыка в стихотворении, конечно, предок тех тиранов, для которых «двуногих тварей миллионы» только «орудие» («Евгений Онегин», гл. II, XIV). Но предок еще очень отдаленный.

В какой же мере идейный комплекс «Анчара», начинающий для нас проясняться, может быть соотнесен с русской исторической действительностью, современной стихотворению? Научно осмыслить его *вне* этой действительности мы не можем. Но соотнесение имеет свою градацию. Иногда оно бывает прямым; иногда оно суммирует долгие переживания поэтом реальных фактов и размышлений над ними, уже без прямой зависимости от частных явлений жизни, сопутствовавших созданию данной вещи.

Н. Л. Бродский, автор одной из лучших советских монографий о Пушкине, решал интересующий нас вопрос, исходя из фактов внешней биографии Пушкина конца 20-х гг. Приведя эти факты, Н. Л. Бродский писал: «Николай торжествовал победу. Но поэт ответил ему стихотворением, в котором личный, только что пережитый ответ был переплавлен в обобщение колоссальной силы. В нем в лицо всех тиранов всех веков и народов человеческий гений в лице Пушкина бросил полный ненависти вызов, выступил в защиту полноценной человеческой личности... В нем прозвучал такой могучий гимн свободному человеку, что Николай должен был признать, что поставить на колени Пушкина ему не удалось, что над свободной мыслью поэта владыка из Зимнего дворца бессилён»².

¹ См. Сочинения А. С. Пушкина, ред. Венгерова, т. VI, стр. 377.

² Н. Л. Бродский, Пушкин, М., 1937, стр. 533—534.

При всем моем уважении к цитированному автору я не могу принять без оговорок данное его высказывание. Думаю, что не только текст, но и возможный «подтекст» (некоторая часть современных исследователей Пушкина всего охотней обращается именно к «подтекстам») не дают основания для того, чтобы говорить о «защите полноценной человеческой личности», о «могучем гимне свободному человеку».

Установить *непосредственный* толчок к созданию «Анчара» едва ли возможно, да, может быть, не так и необходимо. В. В. Виноградов выдвинул соблазнительную мысль о прямой связи «Анчара» со стихотворением П. Катенина «Старая Быль»¹. В этом стихотворении греческий певец, пользуясь поводом женитьбы князя Владимира на византийской царевне, славит в своей песне цареградского императора, описывая его дворец, его трон, над которым простирает ветви серебряное дерево с золотыми листьями, с птицами, вырезанными из драгоценных камней. Создание искуснейшего мастера — дерево это не боится зимы, одарено вечною красотой.

В образе этого неувядающего дерева — «древа жизни», — говорит В. В. Виноградов, представлено царское самодержавие. Дерево это единственное во всей вселенной. Его образ, поданный греческим певцом, как бы воплощает символически — по словам В. В. Виноградова — пушкинское понимание самодержавия в 27—28 гг. Греческий певец говорит, что, если бы искусственные птицы могли чувствовать, они прославили бы свою неволю, которая блаженнее мнимой свободы живых птиц, всегда находящихся под угрозой стрелы охотника, под угрозой зноя и холода.

Не так ли — хочет сказать Катенин (по предположению В. В. Виноградова) и Пушкин наслаждается, «блаженнейшей неволей», под кровом российского самодержавия, ныне им прославляемого?

Пушкинский «Анчар», по заключению В. В. Виноградова, — выражение Катенину: «древо смерти» противопоставлено Пушкиным Катенинскому «древу жизни».

«Затаенный общественно-политический смысл «Анчара», скрытые в нем намеки разглядываются лишь тогда, когда за этим стихотворением открывается другой, отрицаемый им семантический план Катенинской «Старой Были». Анчар, как символ самодержавия, является антитезой Катенинского «неувядающего дерева»².

Предположение В. В. Виноградова хорошо аргументировано, но, тем не менее, в самой аргументации есть места, возбуждающие сомнения. Прежде всего: почему В. В. Виноградов приписывает Катенину выражение «древо жизни», которого нет в «Старой Были»? В ней говорится о древе неувядаемом, неувядаемом потому, что оно искусственно. Византийское дерево, говорит В. В. Виноградов, «полно жизни». Но даже греческий певец восхищается у Катенина в первую очередь тем, что изделие искусного мастера «пленяет око» красотой материала и симметрией построения. А в целом дерево, как сказано у Катенина, «милосердие царево изображающий символ». А механические львы, лежащие у трона — символ грозной царской власти. Прочитал ли об этом дереве Катенин в Никоновской летописи или взял этот образ из другого источника — в данном случае для нас несущественно. Византийское дерево, осенявшее императорский трон, существовало на самом деле. О нем сообщает, наряду с прочими чудесами, которые он

¹ Сочинения Павла Катенина, СПб., 1835, ч. I, стр. 95—97.

² В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, М., Гослитиздат, 1941, стр. 426.

наблюдал в Золотой Палате (Магнавре), Лиутпранд, в 949 г. явившийся к Константину Порфирородному в качестве посла итальянского короля Беренгара¹.

Для заманчивой мысли о том, что Анчар Пушкина — антитеза «неувядающему древу» Катенина — В. В. Виноградову пришлось дополнить образ, данный Катениным, новыми, отсутствующими в Катенинском тексте, штрихами.

Сказанное выше не позволяет мне согласиться и с толкованием «древа смерти» как *символа* самодержавия. При таком толковании сюжет стихотворения вообще становится непонятным. Для чего понадобился символ, когда налицо имеется носитель самодержавия — «непобедимый владыка», и как понять отношение этого персонажа к «символу»?

А самое главное в том, что суть стихотворения не в образе «древа», а в изображении тех человеческих отношений, о которых говорится во второй части «Анчара». Противопоставлены два мира: мир природы, естественный, где существа (птицы и звери) инстинктивно отвращаются от зла, и мир человеческий, в котором ищут зла, чтобы использовать его во вред другим (соседям) во имя своей алчности, бесчеловечности. Царь посылает *instrumentum vocale*² на верную гибель, чтобы, получив яд, разослать гибель.

В конце концов возможно, что «лукавые» намеки Катенина в какой-то мере побудили Пушкина к поэтическому оформлению далеко копившихся у него чувств и мыслей, но главное не в этом. «Анчар» — результат всегдашнего и напряженного интереса Пушкина к перспективам социального развития человечества, интереса, который поэт разделял с передовой частью современного ему «просвещенного дворянства». Мучительное сознание несправедливости этого строя соединилось с мыслями о будущем. Надежды на возможность коренного переворота чередовались с сомнениями, обуревавшими всех, кто так или иначе был вовлечен в орбиту дворянской революции. Возможно ли изменение существующего порядка вещей, который еще Радищевым был определен, как «наипротивнейшее человеческому естеству состояние»? Или, наоборот, прав Батюшков в стихотворении, которым закончился его недолгий творческий путь:

Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет...

В 20-х гг. и члены тайных обществ, и их единомышленники все время колеблются между верой и неверием, между порывами к революционному действию и сомнением в целесообразности этого действия. Радикально настроенный предшественник декабристов Пнин иногда думает, что одного пробуждения сознательности в «рабах» достаточно для того, чтобы они сорвали ими же самими надетые на себя цепи, а иногда, — что основанный на насилии строй неизменен:

Род смертный тот же все пребудет,
Он только переменит вид,
Сильнейший слабого гнать будет,
Злодей злодея подкрепит³.

¹ О византийском «древе» см., например, Очерки по истории Византии, ред В. Н. Бенешевича, вып. 2, СПб., 1912, стр. 31.

² По античной терминологии: раб — звучащее (говорящее) орудие.

³ Поэты Радищевцы, Л., «Советский писатель», 1952, стр. 185—186.

В 1818 г. Пушкин не сомневается, что «звезда пленительного счастья взойдет», что сон России скоро окончится; в 1823 г. с его уст срываются слова, полные горького разочарования:

Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич,
К чему стадам дары свободы:
Их должно резать или стричь...

Ближе Пушкина стоявший к непосредственной политической акции, В. Ф. Раевский полон такой же неуверенности в народе:

Как истукан, молчит народ,
Под иггом дремлет в тайном страхе... (1822—23?).

Момент решительного выступления близится, но даже Рылеев не может отделаться от тягостных сомнений в том, что дело его группы будет поддержано:

Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей... (1824).

Нечего говорить о таких случайных и краковременных попутчиках освободительного движения, как Языков:

О, долго цепи вековые
С рамен отчизны не спадут,
Столетия грозно протекут
И не пробудится Россия... (1824).

Само собою понятно, что после катастрофы 14 декабря настроения такого рода легли тяжким бременем на сознание тех, кто уцелел. Вспомним Герцена: «Первые годы, следовавшие за 1825-м, были ужасающие». Нужно было иметь исключительную силу духа, чтобы, подобно Пушкину, все-таки верить и уверить пострадавших, что «придет желанная пора», что «оковы тяжкие падут» («В Сибирь», 1827). В литературе мы не найдем других выражений этой веры. В том же 1827 г. молодой Тютчев обращается к декабристам с двусмысленным стихотворением: он будто бы осуждает их за «вероломство», но еще более за безрассудство:

Вы уповали, может быть,
Что станет крови вашей скудной,
Чтоб вечный полюс растопить?

Вечный полюс, вековая громада льдов, крепимая дыханием «железной зимы» — вот в каких образах предстает Тютчеву самодержавная, феодально-крепостническая Россия. Никаких признаков разложения строя он не видит. В стихотворении нельзя прочитать выражения какой-либо симпатии поэта существующему порядку вещей, но нет и малейшей мысли о том, что он может измениться.

Несколько лет спустя после появления в печати «Анчара» к той же теме рабства и свободы обратился Баратынский. «К чему невольнику мечтания свободы?» — спрашивает он и обосновывает неизменность социального строя неизменностью явлений естественного мира.

В нашей стране, в эпоху великого преобразования природы аргументация Баратынского звучит особо анахронистично:

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных берегах, по склону их русла:
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти...¹.

Поэтому и мы, «рабы разумные» — говорит поэт, должны согласить «свои желания со жребием своим». И однако, голос поэта вдруг словно обрывается: в последних четырех стихах два первые остановлены на цезуре, за которой следуют многоточия. Но смысл ясен — тягостна для нас:

Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

Тягостна — но с точки зрения Баратынского 30-х гг. — predetermined самими законами природы. Пушкин еще в лицейские годы держался совершенно противоположного мнения.

Мы знаем, что он с особой охотой слушал в лицее лекции А. П. Куницына. Б. С. Мейлах в одной из своих работ² привел выдержки из лицейских лекций Куницына по энциклопедии права по записям товарища Пушкина Горчакова. Профессор начинал с обоснования права естественного, как права личности на независимость. «С людьми нельзя поступать так, как мы поступаем с вещами», — говорил он своим слушателям. Человека нельзя принудить к тому, чтобы он следовал чужому мнению. «Кто принуждает другого следовать своим мнениям, тот не уважает личных его прав: ибо тем самым и старается удержать его в зависимости». Развивая идею совершенной законности личной свободы, Куницын доказывал далее, что отказ личности в ее правах равносителен действию «посредством разума для того, чтобы не иметь разума».

В менее категорической форме те же взгляды проводятся и в печатном труде Куницына «Право естественное» (2 ч., 1818—1820 гг.), который после выхода был изъят из учебных заведений и уничтожен. Защита «врожденных прав человека» в первой части труда проводится с достаточной ясностью и твердостью. — Человек имеет право только на себя самого, то есть на собственное лицо, от чего право сие и называется правом личности. — Посему, кто поступает с другими людьми, как с вещами, тот противоречит понятиям собственного разума... — Ибо не может (человек) переменить в себе убеждения в том, что сам он есть свободное лицо, и что другие люди, будучи одинаковой с ним природы, равно имеют право на свободу.

И далее: «Человек не может быть принужден что-либо признавать истинным противу собственного убеждения».

И, наконец, еще — уже из второй части:

«Кто нарушает свободу другого, тот поступает противу его природы... Всякое нападение, чинимое несправедливо на человека, возбуждает в нас негодование»³.

Все эти, типично просветительские утверждения, являлись для Пушкина в свое время азбукой его политического образования. Уважение к Куницыну Пушкин сохранил и позже. Но, разумеется, заду-

¹ Стихотворения Евгения Баратынского, ч. I, М., 1835 (цензурное разрешение 1833), стр. 24.

² Б. Мейлах, Пушкин и его эпоха («Звезда», 1949, № 2, гл. 2).

³ Право естественное, сочиненное профессором императорского лицея Александром Куницыным, СПб., 1818—1820, 2 части (ч. I, стр. 53, 54, 61; ч. II, стр. 21).

мыбаясь над правовыми, над социально-политическими проблемами, Пушкин не оставался только учеником Куницына. И будучи выдающимся мыслителем, он мыслил образами. Подобно другим просветителям русским и французским Куницын ссылается на природу. В поэтическом словаре Пушкина мы не раз встретим это слово в его отвлеченном, философском значении. Вот наиболее насыщенное понятиями из философии права стихотворение «Вольность» (1817):

Владыки! Вам венец и трон
Дает закон а не *природа*.

В стихотворном отрывке «Недвижный Страж» (1823)

...и где же вы, зиждители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав *природы*...

В стихотворении «Друзьям» (1828) — о льстеце:

Он скажет: презирай народ,
Гнет *природы* голос нежный...

Во всех этих случаях слово природа обозначает, очевидно, то самое «естественное право», проблемами которого заинтересовался Пушкин еще в лицее, на лекциях Куницына.

Окружавшая поэта действительность, размышления над страницами истории постоянно ставили перед Пушкиным вопрос о перманентных конфликтах между «природой» (естественным правом) и правом «положительным», прикладным, государственным. Пушкин вырос в чувстве глубокого уважения к «разуму» (вспомним слова о «солнце бессмертном ума») и на каждом шагу, с самого детства видел действия, производимые, по выражению Куницына, «посредством разума для того, чтобы не иметь разума».

Изображение этого конфликта между правом естественным и правом «прикладным» в наиболее обнаженной первичной форме и дано Пушкиным в стихотворении «Анчар». Стихотворение по своему содержанию связано с философско-политическими течениями передовой мысли того времени. Всякое напоминание о «естественном праве», о «естественном ходе вещей» таило в себе требование ослабления оков, наложенных на личность и общество феодальным строем.

Пушкин не говорит в «Анчаре» о возможных перспективах будущего. Внешне спокойный, «бесстрастный» тон изложения сохраняется в произведении с начала до конца. Но Пушкин не возвеличивает «принципа государственности», не превозносит и рабского «самоотречения». Искать в данном произведении какого-либо «оптимизма» значило бы фальсифицировать текст Пушкина.

Но показанная здесь со всей остротой ситуация отнюдь не обозначала успокоения Пушкина на формуле: так было, так будет. Располагая сейчас наследием Пушкина во всей (сохранившейся) совокупности, мы не можем рассматривать отдельные создания поэта имманентно, вне связи с предыдущими и последующими. Факты показывают, что именно после «Анчара» мысль Пушкина все настойчивей обращалась к вопросу: как будет?

В результате поездки на Кавказ создаются стихотворения, свидетельствующие и прямым, и переносным своим значением, что мысль поэта продолжает работать над вопросом борьбы естественного стремления к свободе против принуждения «законов», против препятствий, кажущихся непреодолимыми («Кавказ», «Обвал»). А через год после кавказской поездки Пушкин встал перед лицом событий, которые еще

более показали ему, что социально-историческая стабилизация весьма и весьма относительна.

«Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в Россию, пока во мне сохранится дыхание жизни»,— говорил Николай I. Говоря это, он не предвидел ни польского восстания 1830 г., ни восстания в том же году в Севастополе, ни холерных и иных «бунтов», ни восстания в военных поселениях 1831-го г.— всего того, о чем знал Пушкин и что его глубоко волновало.

Именно после создания «Анчара» — стихотворения, констатировавшего мрачайший факт исконности эксплуатации человеком человека, проблема революционного переворота становится одной из основных в творчестве Пушкина. Он начинает серьезно заниматься и как историк, и как художник событиями крестьянской войны XVIII в. под водительством Пугачева; он пробует в X главе «Евгения Онегина» дать характеристику недавней, на его глазах проходившей дворянской революции; его интересуют крестьянские войны в эпоху позднего западноевропейского феодализма («Сцены из рыцарских времен»); он замышляет работу по истории французской буржуазной революции XVIII в. и, вероятно, еще много иного, аналогичного, о чем мы можем только догадываться.

Самое страшное в «Анчаре» — это, конечно, беспрекословная покорность раба, принимающего насилие над своей личностью, как нечто неизбежное, должное, законное. Это то самое «изумительное терпенье», которое приводило то в скорбь, то в негодование, то в изумление писателей — преемников Пушкина — от Лермонтова до Некрасова, от Чернышевского до Щедрина. Не будем заниматься сопоставлениями. Как Пушкин, русская революционно-демократическая литература воевала не только против юридического и экономического рабства, в котором оставалась крестьянская масса и после реформы 1861 г., но и против того социально-психологического рабства, о котором то с горечью, то с негодованием говорили Пушкин и Лермонтов.

* * *

«Анчар», созданный Пушкиным, делается достоянием ширящегося год от года круга читателей, которые в разное время и в зависимости от разных условий по-разному переживают и, так сказать, пересоздают произведение поэта. Изучение истории жизни данного образа в читательских восприятиях входит в задачу литературоведа, но в рамках данной статьи может быть только намечено. В. Г. Белинский включил стихотворение в ряд выдающихся созданий Пушкина, но не остановился на его разборе. В воспоминаниях об И. С. Тургеневе мы найдем немало восторженных отзывов писателя об «Анчаре», как о произведении высочайшего мастерства, как о «таком протесте против деспотизма, какого не могут и приблизительно выразить тысячи обличительных и возбудительных стихотворений»¹. Но для Тургенева-художника «Анчар» не только протест против политического или социального деспотизма. В 1854 г. была впервые напечатана, а в 1856 г. переиздана с рядом существенных поправок повесть Тургенева «Затишье». Как известно, через всю эту повесть лейтмотивом проходит воспоминание о Пушкинском «Анчаре». Данное стихотворение, по

¹ Воспоминания об И. С. Тургеневе Н. А. Островской. См. «Тургеневский сборник» под ред. Н. К. Пиксанова, 1915, стр. 83. См. также воспоминания А. Л. (Уканиной), Мое знакомство с Тургеневым, «Северный Вестник», 1887, № 2, стр. 48—49.

словам М. П. Самарина, специально занимавшегося повестью¹, является «сильным фактором в развитии действий». Вспомним его в основных чертах. Степная девушка, Марья Павловна, не любительница стихов, впервые услышала, как декламируют «Анчара». Стихотворение ее поразило, запомнилось, а в дальнейшем своеобразно иллюстрировало ее собственную историю. Анчар — это роковая для Марьи Павловны любовь к Веретьеву, ставшему для девушки «непобедимым владыкой», это ее женская судьба, приводящая ее, как пушкинского «раба», к смерти. Недаром герой другой тургеневской повести — «Переписка» (1855) — Алексей Петрович сравнивает любовь с болезнью, с коршунном, подхватывающим и уносящим цыпленка. В любви «одно лицо — раб, другое — властелин», — говорит Алексей Петрович.

Много позже другая, реальная женщина, писательница В. Микулич², рассказывая о своих встречах с В. Гаршиным и о разговорах с ним о войне, дает этой роковой силе другое осмысление. «Смерть на войне, — говорит она, — не хуже всякой другой. Можно умереть и от холеры, и от укуса мухи. Тяжела не смерть, а то, что «человека человек посылает властным взглядом» к этому Анчару, напоенному ядом и порожденному в день гнева. — Думал ли Пушкин о войне, когда писал это стихотворение? Конечно, война, этот грозный «часовой», и теперь стоит во всей вселенной таким же устрашающим призраком, как воспетый Пушкиным «Анчар». Мы долго декламировали и разбирали по строчкам это стихотворение, помянув попутно и Тургеневское «Затишье». Да, бедные мы, бедные рабы, сложившие головы у ног непобедимого владыки, с тем чтобы дать ему славу и впредь рассылать гибель «к соседям в чуждые пределы». Подлинное дело войны — губить и своих, и чужих»³.

Понимание В. Микулич и В. Гаршина не столь иррационально, как у героини Тургенева. Но и оно, конечно, аполитично, и в нем смысл стихотворения возводится к некоей отвлеченной проблеме. Такого рода интерпретации прибегали и позже сторонники, особенно после того, когда Достоевский своей речью подал пример безграничного произвола по отношению к Пушкинским текстам, используя их для реакционно-идеалистической пропаганды. Вариант ее мы найдем, например, в позабытой теперь статье Мережковского, одном из ранних образцов импрессионистско-декадентской критики, входившем в состав его книги «Вечные спутники» (1897). Для Мережковского одна из основных идей Пушкинской поэзии — «русский бунт против культуры», который после Пушкина будто бы достигает крайнего выражения у Льва Толстого. В этом — смысл и «Кавказского Пленника», и «Евгения Онегина» и, в ряду прочих, — «Анчара». Природа — древо жизни; культура — древо смерти, Анчар. «Вавилонская башня» современной цивилизации воздвигается на первобытном насилии человека над человеком⁴. Мережковского, конечно, не смущает то, что в стихотворении Пушкина нет и намек на какое-либо «древо жизни». Стихотворение Пушкина вообще нужно Мережковскому только, как иллюстрация строяемой им некоей метафизической схемы, убожество и фантастичность которой сразу бросается в глаза.

«Анчар» вообще оказался русским декадентам одной из тех вещей Пушкина, которая будто бы созвучна их настроениям — хоть на

¹ См.: М. Самарин, Тема страсти у Тургенева, сб. «Творческий путь Тургенева» под ред. Н. Л. Бродского, Пгг., 1923, стр. 126—134.

² В. Микулич (псевдоним Л. И. Веселитской) — беллетристка 80—90-х гг.

³ В. Микулич, Дуся, Рассказы, Пгг., 1915, стр. 250 («Всеволод Гаршин»).

⁴ Д. С. Мережковский, Вечные спутники, изд. 2-ое, СПб., 1899, стр. 496.

почувствовала сердцем содержание этого стихотворения, в котором, казалось ей, так выразительно описывалась смерть отца. На исхудалом лице матери засияли новой мыслью блестящие синие глаза. Она объяснила мне стихотворение Пушкина весьма оригинально: «Анчар — дуб, из которого делают бочки для водки, яд — водка, князь — наш пан, а раб — убитый отец». Впоследствии винокурню сожгли. «Бондарную мастерскую с готовыми бочками и кучами клепок и обручей пожег я сам в отплату за смерть батьки. При этом я пел (сам мелодию придумал) песню «Анчар»¹.

Ограничимся этими примерами, хотя данных, свидетельствующих о жизни «Анчара» в нашу эпоху можно было бы привести еще немало².

Произведение, некогда ответившее на жгучие вопросы своей современности, продолжает жить и в сознании советских авторов и читателей. Они могут уже не думать о его литературном источнике. Их может не занимать вопрос о частном случае, который мог послужить толчком к созданию «Анчара» (ответ П. Катенину и другим «друзьям», думавшим, что поэт успокоился под сенью «царственного древа»). Но образы, созданные в «Анчаре», сохраняют свою действенную силу, произведение живет, и нельзя сказать, когда оно целиком отойдет в архив истории.

¹ З митрок Бядуля, «Анчар», Літэратура і мистецтва, 1937 (19 февраля). Збор творау, т. I, Менск, 1951, 419—424. В русском переводе: «Избранное», перевод с белорусского, М., ГИХЛ, 1953, стр. 332—336.

² См., например, еще: Хаджи-Мурат-Мугуев, К берегам Тигра, Повесть, М., Воениздат, 1953 (воспоминания о рейде казачьей сотни в 1916 г. на соединение с англичанами, наступавшими на Багдад), стр. 158—159.

Недостаток места не позволяет привести даже в пересказе любопытную белорусскую сказку о древе смерти, записанную В. С. Короткевичем от Василия Шелухи, крестьянина д. Рухли, околица Смольян, Витебской области, в 1949 г. Сходство отдельных мотивов сказки с «Анчаром» Пушкина несомненно.



КНЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ

Том XVIII

Вып. II

ИЗДАТЕЛЬСТВО КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1959

КИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

СБОРНИК
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

12

ИЗДАТЕЛЬСТВО КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1959